

Алексей КАЗАКОВ

г. Челябинск



ЖИВАА ДУША ГОГОЛЯА

К 210-летию со дня рождения классика русской литературы

Вспоминая свою первую встречу с родиной Николая Васильевича Гоголя – украинскими степями и перелесками, песенными хуторами и живописной осенней ярмаркой в Великих Сорочинцах, где сам жаркий маревый воздух дрожал и кипел от оглушительного людского гомона. Хорошо помню в тех же Сорочинцах звездные теплые ночи с долгими уличными распевными посиделками, дружеские разговоры с местными музейщиками, которые в домике-флигеле хранили память о великом земляке, родившемся здесь, в этом неприметном местечке Миргородского уезда на Полтавщине. Вот и соседний чинный курортный Миргород запомнился своей необъятной лужей (она на удивление хорошо сохранилась, не зря местный городничий называл ее озером), соответствуя достопримечательному описанию земляка-классика: «Чудный город Миргород!.. Если будете подходить к площади, то, вер-

но, на время остановитесь полюбоваться видом: на ней находится лужа, удивительная лужа! Единственная, какую только вам удавалось когда видеть! Она занимает почти всю площадь. Прекрасная лужа! Дома и домики, которые издали можно принять за копны сена, обступивши вокруг, дивятся красоте ее».

А еще были мои хождения-открытия малой родины Гоголя: Яновщины-Васильевки (село Гоголево), Полтавы, сказочно-мистического хутора Диканьки... Многое тогда запечатлелось в памяти, слишком велика была жажда познания художественного мира, сотворенного фантазией украинского писателя. Да и народ там вокруг был живой, словно сошедший со страниц ранних гоголевских книг. Запомнился сорочинский житель Яков Коцарь, приютивший меня, говоривший о Гоголе как о своем родственнике с соседней улицы...

Именно они, земляки писателя, сохраняют и по-

ныне «гоголевское направление» в нашей отечественной многонациональной литературе, которое еще в середине XIX века определил В. Белинский, назвав его «натуральной школой». А последующая русская критика в лице Чернышевского, Дружинина, Анненкова, Григорьева, Добролюбова, Котляревского, Овсянко-Куликовского, Белого, Розанова, Мережковского, Короленко, Переверзева, Гуковского, Эйхенбаума и многих других – лишь развивала и теоретически обогащала само художественное содержание «гоголевского периода русской литературы», распространившегося на весь свой XIX век и далее на последующие времена, вплоть до наших дней.

Страсть к литературе и театру Николай Васильевич впитал от отца – Василия Афанасьевича Яновского, известного украинского писателя той поры. Его незатейливые водевили «Простак, или Хитрость женщины, перехитренная солдатом», «Собака-овца», написанные для домашнего театра, стихи на темы украинского народного быта, – все это влияло на впечатлительную натуру юноши в пору его учебы в Полтавском уездном училище, а затем в гимназии в Нежине (в ее стенах учились Н.Кукольник, Е. Гребенка и другие будущие известные литераторы). В гимназические годы юный Гоголь увлекается сценическим действием, исполняя комические роли. С 16 лет он пробует писать стихи, пьесы, повесть «Братья Твердиславичи», сатиру «Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан» и другие произведения.

«От малых лет была во мне страсть замечать за человеком, ловить душу его в малейших чертах и движеньях его, которые пропускаются без внимания людьми, – и я пришел к тому, который один полный ведатель души и от кого одного я мог только узнать полнее душу», – объяснял Гоголь позднее.

Но все же юноша мечтает о поприще «юстиции», зная, «что здесь работы будет более всего, что здесь только я могу быть благодеем, здесь только буду истинно полезен для человечества». К этому подвигло его гимназическое свободолобие в лице профессора-наставника В. Г. Белоусова. В 1828 году Гоголь окончил гимназию и переехал в Петербург, сумев издать там под псевдонимом В.Алов свою «идиллию» в стихах «Ганц Кюхельгартен», которая была осмеяна критикой. Оскорбленный юноша выкупил все нераспроданные экземпляры и сжег их, поступая так и в дальнейшем со своими рукописями. С горя уехал путешествовать за границу в Германию. «...Еду вовсе не затем, чтобы наслаждаться чужими краями, но скорей, чтобы натерпеться, точно как бы предчувствовал, что узнаю цену России только вне России и добуду

любовь к ней вдали от нее», – писал Гоголь позднее в «Авторской исповеди».

Вернувшись в Петербург, он попытался поступить актером в Александринский театр, но потерпел и здесь неудачу. Инспектор доносил директору театров князю С. С. Гагарину, что присланный на испытание Гоголь-Яновский оказался совершенно неспособным не только к трагедии или драме, но даже к комедии.

В результате Гоголь устраивается чиновником в Департамент государственного хозяйства и публичных зданий, затем работает писцом в штате Департамента уделов. Несколько лет на государственной службе дали ему богатый фактический материал для будущих «петербургских повестей» в частности. В 1830 году Гоголь знакомится с В.А.Жуковским, П. А. Плетневым, а годом позже и с А. С. Пушкиным. К тому времени в «Отечественных записках» появляется повесть Гоголя «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала». Ободренный успехом, он работает над «Вечерами на хуторе близ Диканьки», сообщая в письме к матери: «...В тишине обдумываю свой обширный труд...»

Писательские занятия он подкрепляет занятиями в стенах Академии художеств, постигая мастерство живописи, часами просиживая в рисовальных классах.

В «Литературной газете» появляются новые произведения молодого писателя. Побывав в Москве, Гоголь расширяет круг своих литературных знакомств, сблизившись с М.П.Погодиным, С.Т.Аксаковым, М.Н.Загоскиным, М.С.Щепкиным, М.А.Максимовичем...

* * *

С 1833 года решил посвятить себя педагогической работе, став учителем истории в Патриотическом институте в Петербурге, а позднее получив назначение адъюнкт-профессора по кафедре всеобщей истории при Петербургском университете. Одновременно он занялся изучением истории Украины и всемирной истории. Когда же Киевский университет отверг его труды, Гоголь окончательно решил укрепиться в северной столице. В 1834 году он избран членом Общества любителей российской словесности при Московском университете, которое, к слову сказать, существует и поныне, возобновленное в 1992 году после разгрома в 1930-е годы...

Исторические изыскания Гоголя способствовали замыслу «Тараса Бульбы» и целого ряда научных статей. 1832–1836 годы окончательно утвердили в русской литературе имя Гоголя, выпустив-

шего в свет «Миргород», «Арабески», «Утро делового человека», «Коляску», «Нос» и уже написавшего пьесы «Женитьба» и «Ревизор».

За год до премьеры в Александринском театре (19 апреля 1836) Гоголь читал «Ревизора» многочисленным друзьям в Петербурге и Москве, так же, как ранее читал «Женитьбу». Биограф Гоголя В. И. Шенрок вспоминал: «Читал Гоголь так превосходно, с такой неподражаемой интонацией, переливами голоса и мимикой, что слушатели приходили в восторг... Кончил Гоголь и свистнул... Восторженный Щепкин сказал так: «Подобного комика не видал и не увижу!»

Разрушительная сатира «Ревизора» неоднозначно была воспринята в русском обществе, хотя сам Николай I был со всем семейством на премьере, сказав после спектакля: «Досталось всем, а больше всех мне». Император понял пьесу как произведение, призванное осмеять «самоуправное отступление некоторых лиц от форменного и узаконенного порядка» (Гоголь), увидев в авторе писателя-государственника, каким, собственно, был и Пушкин, личным цензором которого был тот же Николай I. «Слышно, что сам Бог строил незримо руками государей. Все полно, достаточно, все устроено именно так, чтобы споспешествовать в добрых действиях, подавая друг другу руку, и останавливать только на пути к злоупотреблениям...»

* * *

Уверовав в мудрость высшей власти России, Гоголь уверял, что через десяток лет Европа придет к нам не за покупкой пеньки и сала, но за покупкой мудрости, которой не продают больше на европейских рынках.

С этим настроением писатель начал работать над «предлинным романом» под названием «Мертвые души» (1835). Чтобы осмыслить «всю православную Русь», Гоголь уезжает за границу. Германия, Франция, Италия, Австрия обогащают его впечатлениями, в Риме он завершил первый том «Мертвых душ», издав его в России в 1842 году. Тогда же выпустил свое собрание сочинений в четырех томах, где впервые увидела свет повесть «Шинель», продолжив тему «маленького человека», начатую в «Записках сумасшедшего» и «Невском проспекте». Новым стал для Гоголя мистический сюжет повести «Портрет». Появившаяся в 1847 году книга «Выбранные места из переписки с друзьями» окончательно разделила лагерь литераторов-современников на сторонников и противников Гоголя.

* * *

Беспорно, вершина творчества Гоголя – поэма-роман «Мертвые души», произведение «глубокое по мысли, социальное, общественное и историческое...» (В. Г. Белинский).

Сказать, что это обобщенный образ крепостнической России – означает сказать лишь часть смысла, заложенного в романе. Прежде всего – это энциклопедия характеров. Чичиков, Манилов, Собакевич, Коробочка, Плюшкин – каждый в отдельности и все вместе и есть тот народ, душу которого в разные эпохи пытались объяснить и понять философы, богословы, революционеры-народники, марксисты-ленинцы, консерваторы и демократы. Разделив своих персонажей на мертвые и живые души (откупщик Муразов, Костанжогло и другие), Гоголь остановился на полпути в первом томе, решив подвести черту во втором томе, потратив на его написание пять лет непрерывного труда, сопряженного с собственными душевными муками. Русская действительность оказалась бездонным космосом. Так, узнав о переводе первого тома «Мертвых душ» на немецкий язык, Гоголь пишет Н. М. Языкову: «...Этому сочинению неприлично являться в переводе ни в каком случае до времени его окончания, и я бы не хотел, чтобы иностранцы впали в такую глупую ошибку, в какую впадала большая часть моих соотечественников, принявших «Мертвые души» за портрет России» (1846).

Думаю, что и во втором томе поэмы-романа не произошло бы «чудесного преображения» мертвых душ Чичикова и Плюшкина, как выразился о Гоголе филолог А. А. Любищев: «Даже величайший гений не сможет опровергнуть таблицу умножения...»

Надрвавшись под бременем взятой на себя непосильной задачи, автор поэмы нажил себе «депрессивный невроз», так определили его недуг врачи-психиатры...

* * *

И все же стремительный вихрь гоголевской птицы-тройки вовлек в свое движение многих мыслящих людей в России. Не буду говорить о хрестоматийных именах, назову нашего близкого современника Василия Шукшина, достойного продолжателя гоголевской традиции в русской словесности (неслучайно сверстники называли его в годы юности «Гоголь» за пристрастие к прозе классика). Есть у него рассказ «Забуксовал», герой которого сельский житель механик Роман Звягин, слушая, как сын-школьник зубрит отрывок о

птице-тройке из «Мертвых душ», вдруг задумался над парадоксальным вопросом: «А кого везет та птица-тройка, что мчится во весь опор по Руси?» И ответ был на поверхности: «Чичикова везет!» Вот это-то и «скребло» и беспокойно волновало душу: «Как же так, едет мошенник, а...?»

Неслучайно Шукшин озадачил читателя этим вопросом: «Русь-то – Чичикова мчит? Это перед Чичиковым шапки все снимают?»

Если мы сумеем ответить на этот вопрос, почему вдохновенная Богом Русь-тройка везла в XIX веке и продолжает везти и в наши дни шулеров-прохиндеев Чичиковых (ныне иные имена), тогда, возможно, нам приоткроется тайна гоголевских «Мертвых душ», как первого, так и второго тома...

А пока наши школьники продолжают бездумно учить наизусть красивые слова «лирического отступления» от действительности: «Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах?... Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливаются колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земли, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства».

* * *

Гоголь-писатель нашему читателю более-менее известен. Но Гоголь-человек – почти не известен. Поэтому посмотрим на него с этой стороны. Он был очень привязан к родным, особенно к матери – Марии Ивановне, у которой было шестеро детей: два сына – Николай и Иван, и четыре дочери – Мария, Анна, Елизавета, Ольга. После смерти отца свою часть наследства Гоголь передал матери «в вечное владение», признаваясь ей: «...Маминька, вы составляете жизнь мою...» Мария Ивановна обожала своего сына, видя в нем гения, о чем и говорила всем. В письмах к матери Гоголь объяснял ей: «Вы, говоря о моих сочинениях, называете меня гением... Меня, доброго, простого человека, может быть, не совсем глупого, имеющего здравый смысл... Нет, маминька, этих качеств мало, чтобы составить его, иначе у нас столько гениев, что и не протолпиться. Итак, я вас прошу, маминька, не называйте меня никогда таким образом, а тем более еще в разговоре с кем-нибудь. Не изъявляйте никакого мнения о моих сочинениях и не распространяйтесь о моих качествах. Скажите только просто, что он добрый сын, и больше ничего не прибавляйте... Это для меня будет лучшая похвала».

Уехав в 1836 году за границу, Гоголь и издалека

не переставал заботиться о сестрах, которых (Анну и Лизу) отдал учиться в Петербургский Патриотический институт, где в то время сам преподавал общую историю. Не забывал он и Марию, которая всю жизнь прожила с матерью в родовой Васильевке, а также Ольгу, с ней в последние годы жизни Гоголь был ближе, чем с другими сестрами.

* * *

Николай Васильевич увлекался флорой разных стран, особенно северных. По утрам любил читать старинную ботанику. Так, путешествуя по городам России, Гоголь восхищался свежей зеленью деревьев, запахом полевых цветов, безоблачным небом. Просил кучера ехать тихо, чтобы можно было видеть окружающую природу. Иногда беспрестанно останавливал кучера, выскакивал из тарантаса, бежал через дорогу в поле и срывал какой-нибудь цветок; потом садился, рассказывал спутнику довольно подробно, какого цветок клас-са, рода, какое его лечебное свойство, как называется он по-латыни и как называют его в народе. Окончив трактат о цветке, он втыкал его перед собой за козлами тарантаса и вновь бежал в поле за другим цветком, ставя рядом с первым. По ходу поездки в тарантасе образовывался целый букет самых разных цветов – Гоголь был счастлив. Как-то признался, что всегда любил ботанику, добавляя: «Терпеть не могу эти новые ботаники, в которых темно и ученым слогом толкуют о вещах самых простых. Я всегда читаю те старинные ботаники и русские и иностранные, которые теперь уже не в моде, а которые между тем сто раз лучше объясняют вам дело».

В тех же прогонах по бесконечным российским дорогам любил общаться с народом. Как-то под Малоярославцем сломался тарантас. Местный городничий, услышав имя Гоголя, пожелал непременно с ним познакомиться, организовав тут же ремонт тарантаса и устроив обед в трактире. Писатель весьма любезно поклонился майору, прибавив: «Очень рад с вами познакомиться». – «А я совершенно счастлив, что вижу нашего знаменитого писателя, – отвечал городничий, – давно желал где-нибудь вас увидеть, читал все ваши сочинения и «Мертвые души», но в особенности люблю «Ревизора», где вы так верно описали нашего брата городничего. Да, встречаются, до сих пор еще... встречаются такие городничие». Гоголь улыбнулся и тотчас переменял разговор:

– Вы давно здесь?

– Нет, только полтора года.

– А городок, кажется, порядочный?

– Помилуйте, прескверный городишка, скука смертельная, общества никакого!..

Весь этот диалог у дороги звучал как ожившая страница из «Ревизора»...

А они, писатель и его персонаж, еще долго, около часа продолжали свой разговор к обоюдному удовольствию. Потом было застолье в трактире. Городничий раскланялся, а на сцену явился половой, бойкий малый, устроив Гоголя в особый номер. Гоголь стал заказывать обед, выдумав на ходу какое-то новое блюдо «из ягод, муки, сливок и еще чего-то». По ходу обеда расспрашивал полового обо всем на свете: каково жалованье, где его родители, какое кушанье любят чиновники, какую водку пьют, хорош ли у них городничий. Малый сплетничал на славу, намеренно отвечая так, чтобы вызвать новые вопросы, лукаво улыбался и отвечал довольно-таки остроумно, чем вызвал большое удовольствие Гоголя...

Невольно вспоминаются слова деревенского пастуха, сказавшего о своем «пане»: «На все дытыця та в усему кохаецця», т.е. что Гоголь во все вникал и любил все, что касалось его обихода.

* * *

Будучи по природе своей театральным человеком, Гоголь очень тонко чувствовал театр, само сценическое действие. Всегда вникал в каждую реплику, жест актера, не преминув спросить: «Но лица каковы? Есть ли барельефность?» Как-то обмолвился об актерской природе: «Француз играет, немец мечтает, англичанин живет, русский обезьянствует. Много собачьей старости».

Если ему не нравилась игра актеров, то мог уйти из театра, не дожидаясь занавеса. Делал это незаметно и тихо. Больше всего боялся демонстрации со стороны публики, особенно вызовов. Того же Хлестакова желал видеть «живчиком», без особых рассуждений, когда «в порыве болтовни заговаривается, действительность мешается у него с мечтами». Граф А. П. Толстой, в доме которого Гоголь жил в последние годы, рассказывал, что ему не раз приходилось слышать, как Николай Васильевич писал свои «Мертвые души»: один, в запертой комнате будто бы с кем-то разговаривает, «иногда самым неестественным голосом». Да, следы этой творческой работы видны даже в рукописях. В свое время мне посчастливилось видеть рукописи Гоголя в архиве Пушкинского Дома в Санкт-Петербурге.

Человек честный и порядочный, Гоголь не мог кривить душой, когда дело касалось искусства слова. Однажды у него произошел разговор с писателем-земляком О. М. Бодянским о поэзии Тараса

Шевченко. «Как вы его находите?» – спросил Бодянский. «Хорошо, что и говорить, – ответил Гоголь, – только не обидьтесь, друг мой... Дегтю много, – негромко, но прямо проговорил Гоголь, – и даже прибавлю, дегтю больше, чем самой поэзии. Нам-то с вами, как малороссам, это, пожалуй, и приятно, но не у всех носы, как наши. Да и язык...»

Бодянский не выдержал, стал возражать и разгорячился. Гоголь отвечал ему спокойно: «Нам, Осип Максимович, надо писать по-русски, – сказал он, – надо стремиться к поддержке и упрочению одного, владычного языка для всех родных нам племен... Я знаю и люблю Шевченка, как земляка и даровитого художника; мне удалось и самому кое-чем помочь в первом устройстве его судьбы. Но его погубили наши умники, натолкнув его на произведения, чуждые истинному таланту. Они все еще дожевывают европейские, давно выкинутые жваки. Русский и малоросс – это души близнецов, пополняющие одна другую и одинаково сильные. Отдавать предпочтение одной в ущерб другой невозможно. Нет, Осип Максимович, не то нам нужно, не то. Всякий пишущий теперь должен думать не о розни; он должен прежде всего поставить себя перед лицом того, кто дал нам вечное человеческое слово...»

Долго еще Гоголь говорил в этом духе. Наконец гости раскланялись и ушли. «Станный человек, – произнес Бодянский... – Отрицать значение Шевченка! Вот уж, видно, не с той ноги сегодня встал» (из воспоминаний Г. П. Данилевского, 1851). Интересно, что еще в 1844 году Шевченко посвятил Гоголю стихотворение с обращением «великий мій друже», но, судя по всему, адресат не знал об этом. А вышеприведенный отзыв Гоголя о поэзии Т. Шевченко на Украине осудили, объясняя его политическими соображениями и болезненным настроением Гоголя.

Но Гоголь был честен прежде всего к самому себе. Характерно его письмо к А. О. Смирновой, в котором он прямо объясняет: «Скажу вам одно слово насчет того, какая у меня душа, хохлацкая или русская, потому что это, как я вижу из письма вашего, служило одно время предметом ваших рассуждений и споров с другими. На это вам скажу, что я сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому перед малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены Богом и как нарочно каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой: явный знак, что они должны пополнить одна другую. Для этого самые истории их прошедшего быта даны им непохожие одна на

другую, дабы порознь воспитались различные силы их характеров, чтобы потом, слившись воедино, составить собою нечто совершеннейшее в человечестве. На сочинениях же моих не основывайтесь и не выводите оттуда никаких заключений о мне самом» (1844).

* * *

Зачастую Гоголь слышал в свой адрес упреки в том, что он не желает «делиться с публикой своими трудами». Тогда он отвечал: «Как хотите думайте, но неужели живописец не прав, если он не выставляет напоказ своей картины, как бы хороша она ни была, если он сам не доволен ею? Всею свое время».

Речь шла о затянувшемся молчании писателя в период его работы над вторым томом «Мертвых душ». Он был очень чувствителен ко всякого рода замечаниям в свой адрес, порой до мнительности. Будучи в Германии, Гоголь встретился с В. А. Жуковским и решил прочесть ему свою новую пьесу (трагедию). Тот благосклонно согласился. Когда чтение завершилось, Гоголь спросил мнение Жуковского. И в ответ услышал: «Ну, брат Николай Васильевич, прости, мне сильно спать захотелось». – «А когда спать захотелось, тогда можно и сжечь ее», – отвечал Гоголь и тут же бросил в камин. Василий Андреевич одобрил этот жест, сказав: «И хорошо, брат, сделал».

Таков был Гоголь в жизни. Его рукописи горели часто. Вот и второй том «Мертвых душ» не избежал этой трагической участи. Но тому событию предшествовал ряд обстоятельств. Прежде всего отношения с церковниками, среди которых выделялся неистовый проповедник-фанатик из г. Ржева о.Матвей (Матвей Александрович Константиновский, 1792–1857), рекомендованный Гоголю в качестве духовника графом А. П. Толстым. Их знакомство состоялось заочно в начале 1847 года, когда писатель послал священнику свою книгу «Выбранные места из переписки с друзьями». В письме из Неаполя Гоголь просил «убедительно прочитать его книгу», ничего не скрывая. «Не затруньтесь тем, что меня не знаете; говорите мне так, как бы меня век знали». Вскоре в Москве состоялось их личное знакомство. Гоголь внимал советам отца Матвея и был высокого мнения о своем духовнике. «По-моему, это умнейший человек из всех, каких я доселе знал...» – говорил он графу Толстому. Получив отрицательный отзыв о «Выбранных местах...» (ранее это сделали Белинский, Герцен и другие литераторы), Гоголь еще больше проникся почитанием о.Матвея, который, в свою

очередь, считал себя обязанным обличать своего «духовного сына», поддерживая в нем аскетические настроения и обвиняя в необъективности его произведений, якобы предвзято изображающих русскую действительность. Видя развившуюся с годами религиозность и мистицизм писателя, священник грозил Гоголю гибелью, «анафемой», «гегенной огненной», требуя полного отречения от дальнейшего творчества. Хотя все было проще: о.Матвей прочитал несколько готовых глав второго тома «Мертвых душ» и с ужасом увидел свое описание (прочитал по настоянию автора). «Но в этих произведениях был не прежний Гоголь. Возвращая тетради, я воспротивился опубликованию некоторых из них. В одной или двух тетрадях был описан священник. Это был живой человек, которого всякий узнал бы, и прибавлены такие черты, которых... во мне нет, да к тому же еще с католическими оттенками, и выходил не вполне православный священник. Я воспротивился опубликованию этих тетрадей, даже просил уничтожить. В другой из тетрадей были наброски... только наброски какого-то губернатора, каких не бывает. Я советовал не публиковать и эту тетрадь, сказавши, что осмеют за нее даже больше, чем за Переписку с друзьями... Гоголь сожег, но не все тетради сожег, какие были под руками, и сожег потому, что считал их слабыми», – объяснял о.Матвей вскоре после кончины писателя (1856).

Бесспорно, второй том «Мертвых душ» резко отличался от первого, ибо отражал развивающийся религиозный кризис автора. Итальянские поездки Гоголя не прошли даром (более трех лет он провел в Риме). За эти годы писатель пережил эстетическое и духовное влияние Рима («Только в Риме можно молиться», – писал он в тот период). Целое десятилетие (1837–1847) так или иначе было связано у Гоголя с Италией. От этого времени сохранились письма местных иезуитов, членов ордена ресурекционистов, в которых авторы сообщают о своих встречах и беседах с Гоголем, о своей надежде привлечь его в лоно католической церкви. Причем упоминаются и встречи Гоголя в Париже с польским поэтом-мистиком Адамом Мицкевичем. В одном из своих писем к матери Гоголь опровергает слух о том, что он хочет перейти в католичество. Именно в Риме Гоголь усиленно изучал, читал богословские работы отцов церкви всех времен и народов. В Киевской духовной академии находилась рукопись Гоголя, содержащая выписки религиозных писателей: Тертуллиана, Афанасия, Ефрема Сирина, Василия Великого, Григория Нисского, Кирилла Александрийского, Иоанна Златоуста, Иоанна Дамаскина и других, включая старых украинских богословов

ких писателей XVII–XVIII вв. Замечу, что Гоголь в последние годы жизни читал по-латыни, прекрасно зная итальянский язык, к тому же усиленно занимался греческим. Но одной из главных книг для него было «Подражание Христу» – классическое произведение католической назидательной литературы, приписываемое Фоме Кемпийскому. За два десятилетия (1831–1852) духовный путь Гоголя претерпел резкие изменения: от «Вечеров...» до «Выбранных мест...» и «Размышлений о Божественной Литургии» – последних произведений писателя-философа (проблеме духовной биографии Гоголя посвящены труды философа-эмигранта Д. И. Чижевского (1894–1977), опубликованные за рубежом в 1930–1950-е годы, в частности, исследование «Неизвестный Гоголь (1951).

* * *

В 1848 году Гоголь совершает паломничество на Святую Землю, в Иерусалим, желая, по его словам, «привести состояние души в более благодатное состояние». Изживая в себе «себялюбье», он пребывал в постоянной молитве, дабы обрести силу духа и поскорей «возвратиться к делу и труду своему» (мысль о продолжении «Мертвых душ» не покидает Гоголя даже на Земле Обетованной). «У Гроба Господня я был как будто затем, чтобы там, на месте, почувствовать, как много во мне холода сердечного, как много себялюбия и самолюбия. И так далеко от меня то, что я полагал чуть не близко. При всем том меня живит еще луч надежды. Я и доселе также лепечу холодными устами и черствым сердцем ту же самую молитву, которую лепетал и прежде. Мысль о моем давнем труде, о сочинении моем, меня не оставляет. Все мне так же, как и прежде, хочется так произвесть его, чтоб оно имело доброе влияние, чтоб образумились многие и обратились бы к тому, что должно быть вечно и незыблемо», – писал Гоголь «добрейшему другу» Надежде Шереметевой.

У Гроба Господня писатель помянул и имя «бесценного друга» о. Матвея, о чем счел нужным сообщить ему, отправив в тот же день письмо из Иерусалима. Ответные письма священника Гоголь всегда носил при себе...

* * *

Весь 1848 год и последующие годы проходят у Гоголя под знаком неустанной работы над вторым томом «Мертвых душ». В письме к П. А. Плетневу сообщает: «О себе покуда могу сказать немного: соображаю, думаю и обдумываю второй том

«Мертвых душ». Читаю преимущественно то, где слышится сильней присутствие русского духа. Прежде чем примусь серьезно за перо, хочу называться русскими звуками и речью». В письме к А. О. Смирновой: «Я телом не очень здоров, но голова... вся сидит во 2-м томе». Сестра писателя Е. В. Гоголь-Быкова записала в «Дневник»: «...Именины матери. Брат вместо подарка читал нам из второго тома «Мертвых душ» (1850).

Однако душевное здоровье Гоголя постепенно приходит в упадок. «Нервы мои так расколебались...» – пишет он матери (1851). И в те же дни С. П. Шевыреву: «Я еду к Троице... Дух мой крайне изнемог; нервы расколеблены сильно».

Свое душевное здоровье Гоголь поправлял визитами к С. Т. Аксакову, приходя к нему на вареники, после которых, как правило, пелись малороссийские песни, исполняемые дочерью хозяина Надеждой Сергеевной. Гоголь слушал с видимым наслаждением, ему особенно нравилась: «Да вже третій вечір, як дівчину бачив...»

Любопытен эпизод из жизни Гоголя, происшедший с ним в Москве, в Сокольниках на именном обеде у литератора И. В. Капниста. Гостей было довольно много, человек семьдесят. Обедали в палатке, украшенной цветами; в саду гремела полковая музыка. Около Гоголя образовался кружок, но он молчал, наслаждаясь праздником. Среди гостей выделялись игравшие в карты три сенатора и военный генерал. Один из сенаторов, в военном мундире, с негодованием поглядывал на Гоголя. «Не могу видеть этого человека, – сказал он, обращаясь к другому сенатору, во фраке. – Посмотрите на этого гуся, как важничает, как за ним ухаживают! Что за аттитюда (*поза*. – **А. К.**), что за аплон (*апломб*. – **А. К.**)» – и все четверо взглянули на Гоголя с презрением, пожав плечами. «Ведь это революционер, – продолжал военный сенатор, – я удивляюсь, право, как это пускают его в порядочные дома? Когда я был губернатором и когда давали его пиесы в театре, поверите ли, что при всякой глупой шутке или какой-нибудь пошлости, насмешке над властью весь партер обращался к губернаторской ложе. Я не знал, куда деться, наконец не вытерпел и запретил давать его пиесы. У меня в губернии никто не смел и думать о «Ревизоре» и других его сочинениях. Я всегда удивлялся, как это правительство наше не обращало внимания на него: ведь его стоило бы за эти «Мертвые души», и в особенности за «Ревизора», сослать в такое место, куда ворон костей не заносит!» Собеседники почтенного сенатора совершенно были согласны с его замечаниями, прибавив только:

«Что и говорить, он опасный человек, мы давно его знаем!» (по материалам воспоминаний Л.И.Арнольди).

* * *

А между тем слава-молва о неизданном втором томе «Мертвых душ» ширилась и разрасталась, опережая автора, который все чаще и чаще в московских и петербургских литературных салонах в припадке откровенности вытаскивал из своего огромного кармана большую заветную тетрадь и со словами: «Да не прочесть ли нам главу «Мертвых душ»? – начинал читать с упоением, «со всеми оттенками характеров», как утверждал очевидец. По ходу чтения он высказывал ряд реплик и замечаний. И однажды на вопрос поклонницы, почему бы ему не писать записок своих, Гоголь ответил: «Я как-то писал, но, бывши болен, сжег. Будь я более обыкновенный человек, я б оставил, а то бы это непременно выдали; а интересного ничего нет, ничего полезного, и кто бы издал, глупо бы сделал. Я от этого и сжег».

* * *

Ближе к роковому 1852 году душевная болезнь Гоголя усиливалась: стала видна «какая-то затаенная боль и тревога, какое-то грустное беспокорство» (И. С. Тургенев), в самой его фигуре появилась некая надломленность, былая веселость сменилась бесконечно усталым взглядом. «Какое ты умное, и странное, и большое существо!» – думал, глядя на него, тот же Тургенев при их личной встрече...

Среди тех малороссийских песен, которыми «упивался» (его выражение) Гоголь, была одна, начинавшаяся словами: «Болить моя головонька од самого чола...» И вот этот давний песенный образ вдруг стал для больного писателя печальной явью. Где был тот молодой Гоголь, «деятельный, движущийся», обретавший покой лишь занимаясь историческими студиями («Ничто так не успокаивает, как история», – говаривал он в минуту откровенья)?.. Куда подевалась гоголевская былая мощь, породившая «Тараса Бульбу»?.. Тот ли это был человек, восклицавший при виде песенного клада: «Как бы я желал теперь быть с вами и посмотреть... при трепетной свече, между стенами, убитыми книгами и книжной пылью, с жадностью жидя, считающего червонцы! Моя радость, жизнь моя! песни! как я вас люблю! Что все черствые летописи, в которых я теперь роюсь, перед этими звонкими, живыми летописями!..»?..

* * *

Последние творческие усилия дались Гоголю не легко – «выучиваясь постройке больших творений у великих мастеров», он выбрал для себя пример Гомера (памятя и других своих литературных учителей: Шекспира, Ариосто, Филдинга, Сервантеса, Пушкина). И, как видно, душевно надорвался, признавшись в письме к В. А. Жуковскому: «...как я был еще далек от того, к чему стремился. После этого нашло на меня вновь безблагодатное состояние. Изгрызалось перо, раздражались нервы и силы – и ничего не выходило. Я думал, что уже способность писать просто отнялась от меня. И вдруг болезни и тяжкие душевные состоянья, оторвавши меня разом от всего и даже от самой мысли об искусстве, обратили к тому, к чему прежде, чем сделался писатель, уже имел я охоту: к наблюденью внутреннему над человеком и над душой человеческой. О, как глубже перед тобой раскрывается это познание, когда начнешь дело с собственной своей души! На этом-то пути поневоле встретишься ближе с тем, который один из всех доселе бывших на земле показал в себе полное познание души человеческой; божественность которого если бы даже и отвергнул мир, то уж этого последнего свойства никак не в силах отвергнуть, разве только в таком случае, когда сделается уже не слеп, а просто глуп. Этим крутым поворотом, происшедшим не от моей воли, наведен я был заглянуть глубже в душу вообще и узнать, что существуют ее высшие степени и явления. С тех пор способность творить стала пробуждаться; живые образы начинают выходить ясно из мглы; чувствую, что работа пойдет, что даже и язык будет правilen и звучен, а слог окрепнет <...> Выпуск книги «Переписка с друзьями», с которою (от радости, что расписалось перо) я так поспешил, не подумавши, что прежде, чем принести какую-нибудь пользу, могу сбить ею с толку многих, пришелся в пользу мне самому. На этой книге я увидел, где и в чем я перешел в то излишество, в которое, в эпоху нынешнего переходного состояния общества, попадает почти всякий идущий вперед человек. Несмотря на пристрастие суждений об этой книге и разномыслие их, в итоге мне послышался общий голос, указавший мне место мое и границы, которых я как писатель не должен преступать.

В самом деле, не мое дело поучать проповедью. Искусство и без того уже поученье. Мое дело говорить живыми образами, а не рассуждениями. Я должен выставить жизнь лицом, а не трактовать о жизни. <...> Но искусство не разрушенье. В искусстве таятся семена создания, а не разрушенья...»

* * *

Предчувствуя близость смерти, Гоголь в последние месяцы жизни работал с отчаянным рвением. Любил сам переписывать – это занимало его: у него были целые тетради в восьмушку почтовой бумаги, где его рукой каллиграфически были написаны большие выдержки из разных сочинений. На вопросы друзей-приятелей отвечал односложно: «Да вот мараю все свое...»

Хроника последних дней жизни Гоголя такова. В конце января 1852 года из Ржева в Москву приехал о.Матвей. Беседы с ним привели писателя в тяжелое, подавленное моральное состояние: священник требовал от него полного отказа от литературной деятельности. Через несколько дней, 5 февраля, Гоголь проводил своего духовника на вокзал, в Ржев. И с того дня прекратил всякую работу над рукописями. 6 февраля, вслед посылает о.Матвею письмо, в котором просит простить за нанесенное ему оскорбление, завершив послание словами: «Обязанный вам вечно благодарностью здесь, и за гробом, ваш весь Николай». Через три дня отправляет матери последнее письмо: «В здоровье моем все еще чего-то недостает, чтобы ему укрепиться. До сих пор не могу приняться ни за труды, как следует, ни за обычные дела...»

10 февраля Гоголь попросил графа А. П. Толстого взять к себе все его рукописи на сохранение, а впоследствии передать их на сохранение митрополиту Филарету, говоря: «Пусть он наложит на них свою руку: что ему покажется ненужным, пусть зачеркивает немилосердно» (первоначально у Гоголя была мысль разослать друзьям по тетрадке в память о нем). Граф отклонил просьбу Николая Васильевича принять тетради с готовым вторым томом «Мертвых душ», сказав ему: «И прежде вы сжигали все, а потом выходило еще лучше; значит, и теперь это не перед смертью». Гоголь при этих словах немного оживился, а Толстой продолжал: «Ведь вы можете все припомнить?» – «Да, – отвечал Гоголь, положив руку на лоб, – могу, могу: у меня все это в голове». Этот разговор привел его в некоторое равновесие, он перестал плакать. Но еще за неделю до встречи с графом писатель начал говеть (приближался Великий пост), проведя двое суток на коленях перед образами без питья и пищи. Слуга сообщил об этом Толстому, который увещевал Гоголя подкрепиться – ничто не действовало. Тогда граф поехал к митрополиту Филарету, чтобы словом архипастыря подействовать на расстроенное воображение кающегося грешника. Филарет приказал сказать, что сама

церковь повелевает в недугах предаться воле земного врача. Но и это не произвело перемены в мыслях больного, пропустившего лишь несколько капель воды с красным вином и по-прежнему продолжавшего стоять коленапреклоненным перед множеством икон и молиться, молиться, молиться... На все уговоры отвечал тихо и кротко: «Оставьте меня, мне хорошо». Казалось, он забыл обо всем и обо всех... (по материалам воспоминаний А. Т. Тарасенкова, М. П. Погодина, П. А. Плетнева).

По существу, Гоголь уже не жил, ведь жить для него означало одно – писать. А переступить черту не мог, как его Хома Брут, погибший от тяжелого взгляда Вия и нечисти, – так и Гоголь не смог ослушаться требования о.Матвея «бросить имя литератора и сделаться монахом». Он внушил себе мысль, что «воля Божья» требует отречения от литературы. И еще: страх смерти пересилил жажду жизни («Страшная минута смерти!» – повторял Гоголь в те дни).

За девять дней до кончины, в ночь с 11 на 12 февраля 1852 года, Гоголь сжег рукопись второго тома «Мертвых душ», ставшим отныне всего лишь преданием...

Признав свое творение вредным для ближних, излив душу перед Создателем в долгой горячей молитве, он и решился на последний шаг. В три часа ночи разбудил мальчика-слугу Семена, взял свечу и велел тому следовать за собой в кабинет. В каждой комнате, через которую они проходили, Гоголь останавливался и крестился. В кабинете приказал он мальчику открыть как можно тише трубу и, отобрав из портфеля некоторые бумаги, велел их свернуть в трубку, связать тесемкою и положить в камин. Мальчик бросился перед ним на колени и стал убеждать его не жечь, чтоб не жалеть, когда выздоровеет.

– Не твое дело, – отвечал Гоголь и сам зажег бумаги. Но обгорели лишь углы тетрадей, огонь стал потухать. Развязав тесемку и ворочая бумаги кочергой, Гоголь крестился и тихо творил молитву до тех пор, пока они не превратились в пепел. Окончив свое *auto de fe*, он в изнеможении опустился в кресло. Мальчик горько плакал, приговаривая: «Что это вы сделали!» – «Тебе жаль меня?» – спросил Гоголь, обняв и поцеловав его, после чего сам заплакал...

Затем он воротился в спальню, крестясь по-прежнему в каждой комнате, – лег на постель и заплакал еще сильнее. Это было в ночь с понедельника на вторник первой недели Великого поста.

На другой день он объявил о содеянном графу Толстому, выразив раскаяние и сожаление, что от него не приняли бумаг, и приписывая сожжение их

влиянию нечистого духа. «Вообразите, как силен злой дух! Я хотел сжечь бумаги, давно уже на то определенные, а сжег главы Мертвых Душ, которые хотел оставить друзьям на память после своей смерти...» – печалился Николай Васильевич (по материалам воспоминаний современников).

Так завершилась эпопея создания и уничтожения второго тома «Мертвых душ», который автор уничтожил дважды: в 1843 и 1845 годах. И если раньше была какая-то надежда, хотя «строки лепились вяло, а время летело невозвратно», то в феврале 1852 года все рухнуло окончательно. Рухнуло «в ту минуту, когда Гоголь сидел у печки и смотрел, как буквы тлеющих рукописей рдеют, точно кровью наливаются («смотри, окаянный грешник, святые буквы на книге налились кровью»), в этом страшном кровавом отблеске не предстал ли ему образ о.Матвея, не захотелось ли Гоголю закричать ему, как в «Страшной мести» колдун кричит святому схимнику: «Отец, ты смеешься надо мною!» Не понял ли он наконец, кто скрывается под этим образом... Не узнал ли под эту последнюю, самую соблазнительную маску того, с кем он боролся всю жизнь оружием смеха? Борьба была окончена, совершилась «страшная месь»: не-человек победил человека, посмеялся над тем, кто думал над ним посмеяться» (Д. Мережковский).

Почти целое десятилетие длилась та борьба за продолжение «поэмы в прозе». Еще затеявая первый том, Гоголь предчувствовал: «...Я погружен весь в «Мертвые души». Огромно велико мое творение, и не скоро конец его... Кто-то незримый пишет передо мною могущественным железом. Знаю, что мое имя после меня будет счастливее меня, и потомки... произнесут примирение моей тени».

И далее: «Если Бог поможет мне выполнить мою поэму так, как должно, то это будет первое мое порядочное творение. Вся Русь отзовется в нем».

И год за годом в письмах, статьях, разговорах неустанно объяснял себе и друзьям-литераторам – от Пушкина до Языкова, Плетнева, Погодина – свою авторскую исповедь по поводу «Мертвых душ»: «Знаю, что дам сильный ответ Богу за то, что не исполнил как следует своего дела; но знаю, что дадут за меня ответ и другие. И говорю это не даром. Видит Бог, говорю не даром!» (1843); «Затем сожжен второй том «Мертвых душ», что так было нужно. «Не оживет, еще не умрет», – говорит апостол. Нужно прежде умереть, для того чтобы воскреснуть. Нелегко было сжечь пятилетний труд, производимый с такими болезненными напряжениями, где всякая строка досталась потрясеньем, где было много того, что

составляло мои лучшие помышления и занимало мою душу. Но все было сожжено, и притом в ту минуту, когда, видя перед собою смерть, мне очень хотелось оставить после себя хоть что-нибудь, обо мне лучше напоминающее. Благодарю Бога, что дал мне силу это сделать. Как только пламя унесло последние листы моей книги, ее содержание вдруг воскреснуло в очищенном и светлом виде, подобно фениксу из костра, и я вдруг увидел, в каком еще беспорядке было то, что я считал уже порядочным и стройным. Появление второго тома в том виде, в каком он был, произвело бы скорее вред, нежели пользу. ... Дело мое – душа и прочное дело жизни. А потому и образ действий моих должен быть прочен, и сочинять я должен прочно. Мне незачем торопиться; пусть их торопятся другие! Жгу, когда нужно жечь, и, верно, поступаю как нужно, потому что без молитвы не приступаю ни к чему. ... Дряхлею телом, но не духом. В духе, напротив, все крепнет и становится тверже; будет крепость и в теле. Верю, что, если придет урочное время, в несколько недель совершится то, над чем провел пять болезненных лет» (1846); «...Я полжизни думал сам о том, как бы написать истинно полезную книгу для простого народа... И так, на некоторое время занятием моим стал не русский человек и Россия, но человек и душа человека вообще. Все меня приводило в это время к исследованию общих законов души нашей: мои собственные душевные обстоятельства... Виноват я разве был в том, что не в силах был повторять то же, что говорил или писал в мои юношеские годы?... Разве писатель также не человек?... Жизнь я преследовал в ее действительности, а не в мечтах воображения... Я думал, что многие сквозь самый смех слышат мою добрую натуру, которая смеялась вовсе не из злобного желанья. ... Душа человека – кладезь, не для всех доступный иногда... Я не знаю выше подвига, как подать руку изнемогшему духом» (1847).

Столь долгие гоголевские душевные борения и поиски себя в этом мире вызвали упреки со стороны церкви, обвинившей писателя в гордыне, в том, что он якобы «впал в прелесть», вздумав спасти заблудшие души России-матушки...

«Почему же, однако, теперь, через полвека, так хочется, чтобы не праведный о.Матвей, уклончивый Филарет, умеренный Иннокентий, богословный Григорий, а грешный, непреклонный, неумеренный, небогословный Гоголь помолился именно этой новою молитвою о нашем спасении, о спасении России, у Престола Господня? Почему так верится, что молитва эта, более чем какая-либо дру-

гая, будет услышана?.. Одни говорят: нельзя быть живым, не отрекшись от Христа. Другие: нельзя быть христианином, не отрекшись от жизни. Или жизнь без Христа, или христианство без жизни. Мы не можем принять ни того, ни другого. Мы хотим, чтобы жизнь была во Христе и Христос в жизни. Как это сделать?

Гоголю на вопрос этот церковь ничего не ответила. Может быть, тогда еще не исполнились времена и сроки. Но теперь они исполняются.

Пусть же церковь ответит. Мы спрашиваем», – строго вопрошал один из предсказанных писателем потомков Д. С. Мережковский в 1906 году в своем трактате «Гоголь».

Пепел сгоревших рукописей не давал покоя больной душе Гоголя. Тяжелое ощущение «окаянного греха» делало жизнь бессмысленной. Последние дни он горько плакал, коря себя за слабость отступничества, за отречение от печатного слова, за то, что «преступил завет апостольский: духа не угашайте...».

* * *

Первую неделю поста и начало второй проводил он в постоянной молитве или в молчаливом размышлении, окружающих людей воспринимал без слов. Но, повинувшись долговременной привычке мыслить на бумаге, все же писал слабеющей дрожащею рукою изречения из Евангелия, молитву Иисусу Христу, в частности: «Как поступить, чтобы вечно, признательно и благодарно помнить в сердце полученный урок?»

Душа его скорбела, но как художник Гоголь оставался на высоте духа и мысли! Все его писания разных лет, собранные в книги, прозвучали в эту минуту душевного просветления единой творческой Исповедью, где каждый звучащий глагол открывал истину гоголевской души...

Читая часто молитву Василия Великого «Господи, даждь ми слезы умиления и память смертную», – Гоголь хранил в себе эту память каждодневно, ежеминутно. Вот и во время последнего торжественного обряда миропомазания из глаз его текли слезы умиления...

Избегая людского общения, писатель пытался обрести благодать душевного одиночества, отвергая житейскую суету, столь долго тяготившую его в последние годы. «Нет, мы не должны возвышать против него осудительный голос; мы должны удивляться в нем необычайному напряжению нравственных сил и сочувствовать великой скорби, которою скорбела душа его», – сочувственно писал в те печальные дни современник Гоголя.

На все уговоры и убеждения принять лекарства он отвечал отказом, когда же съел просфору, то назвал себя обжорою, окаянным нетерпеливцем, сильно сокрушаясь при этом. В последние дни его преследовали «ужасные видения»: в памяти как наяву возникало давно написанное: «Тишина была страшная; свечи трепетали и обливали светом всю церковь. <...> Вдруг... среди тишины... с треском лопнула железная крышка гроба... Вихорь поднялся по церкви, попадали на землю иконы... Двери сорвались с петель, и несметная сила чудовищ влетела в Божью церковь. Страшный шум от крыл и от царапанья когтей наполнил всю церковь. Все летало и носилось, ища повсюду философа. <...> Он только крестился да читал как попало молитвы. И в то же время слышал, как нечистая сила металась вокруг его...» («Вий»).

По целым дням Гоголь сидел в креслах в халате, протянувши ноги на другой стул и почти не говорил. Обронил лишь зашедшему Хомякову: «Надобно же умирать, и я уже готов и умру». В то же время врачи уверяли, что «никаких важных болезненных симптомов с ним не было». А он продолжал «поститься», вернее, морить себя голодом. Когда Толстой начинал говорить с ним о разных предметах, ранее интересовавших писателя, он резко возражал «с благоговейным изумлением», восклицая: «Что это вы говорите, можно ли рассуждать об этих вещах, когда я готовлюсь к такой страшной минуте?»

Так было ежедневно: против лица – образ Богоматери, в руках – четки. Ему пытались помогать и священники, и врачи, пытались кормить насильно. Предписали пиявки и холодное обливание головы в теплой ванне. Гоголь кричал, стонал, повторяя: «Не надо!» Его тело обкладывали горячим хлебом, мяли, ворочали... Чтобы как-то определиться, нашли «успокоительное» латинское название болезни: *gastroenteritis ex inanitione*.

И зловеще сбылось помрачение Поприщина из «Записок сумасшедшего» от 34 числа месяца февраля, годя 349 (если прочесть цифру 34 наоборот, то это и будет срок недолгой жизни Гоголя – 43 года): «Нет, я больше не имею сил терпеть. Боже! что они делают со мною! Они льют мне на голову холодную воду! Они не внемлют, не видят, не слушают меня. Что я сделал им? За что они мучат меня? Чего хотят они от меня, бедного? Что могу дать я им? Я ничего не имею. Я не в силах, я не могу вынести всех мук их, голова горит моя, и все кружится передо мною. Спасите меня! возьмите меня! дайте мне тройку быстрых, как вихорь, коней! Садись, мой ямщик, звени, мой ко-

локольчик, взвейтеса, кони, и несите меня с этого света! Далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего. <...> Дом ли то мой синее вдали? Мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына! урони слезинку на его больную головушку! посмотри, как мучат они его! прижми ко груди своей бедного сиротку! ему нет места на свете! его гонят! Матушка! пожалей о своем больном дитятке!..»

В последнюю ночь умирающий писатель вдруг закричал громко: «Лестницу! Поскорее, давай лестницу!..»

Это были его последние слова. Слишком много думал Гоголь при жизни о «духовной» лестнице подвижника Иоанна Лествичника. Откроем «Выбранные места из переписки с друзьями» – в последней главе «Светлое Воскресение» говорится: «Бог весть, может быть, за одно это желание (любви воскрешающей) уже готова сброситься с небес нам лестница и протянуться рука, помогающая взлететь по ней».

И он взлетел, совершив «великое самопожертвование». Но, как справедливо писал Дмитрий Мережковский о судьбе Гоголя: «Ежели кровь жертвы падет на чью-нибудь голову, то вода этих слез не смоет крови».

* * *

Смерть Николая Васильевича Гоголя потрясла русское общество. «...Горестью была для меня мысль о Гоголе как о нашей знаменитости. Осиротели мы совершенно, невозвратно, и последнее наше сокровище отнял у нас Толстой своим ханжеством. Зачем лишил он нас еще одной части Мертвых Душ?.. Что это за странная смерть?..» (Из частного письма).

Действительно, ханжеское равнодушие графа Александра Петровича Толстого поразило многих поклонников отошедшего классика. Видный царский сановник, в прошлом губернатор в Одессе и Твери, а впоследствии – обер-прокурор Святейшего Синода – он принадлежал к тому ряду друзей Гоголя, которые со временем стали его недоброжелателями. Писатель познакомился с графом в начале 1840-х годов за границей и проник к нему уважением, находя поддержку своей растущей религиозности. Именно Толстой, напомним, познакомил Гоголя с Матвеем Константиновским, ставшим духовником-обличителем писателя. Граф способствовал и написанию Гоголем «Выбранных мест...», считая эту книгу единственным достойным сочинением Николая Васильевича. В руках А.П.Толстого оказалась и

часть рукописного наследия покойного Гоголя.

«Гоголь умер!.. Какую русскую душу не потрясут эти два слова. Он умер... Потеря наша так жестока, так внезапна, что нам все еще не хочется ей верить... Да, он умер, этот человек, которого мы теперь имеем право – горькое право, данное нам смертью, – назвать великим; человек, которым мы гордились, как одною из слав наших!.. Какое бы ни было окончательное место, которое оставит за ним история, мы уверены, что никто не откажется повторить теперь же вслед за нами: «Мир его праху, вечная память его жизни, вечная слава его имени», – говорилось в «Письме из Петербурга» И.С.Тургенева, напечатанном в «Московских Ведомостях» (после запрещения его петербургской цензурой) в марте 1852 года, после чего последовали арест и ссылка автора письма в деревню.

* * *

С 22 по 24 февраля народ прощался с Н.В.Гоголем: сначала в его последней квартире на Никитском бульваре, затем сотни людей хлынули в университетскую церковь, где день и ночь дежурили студенты. При прощании лавровый венок был растерзан на кусочки, всякому хотелось иметь свой листок на память. Славянофилы во главе с Хомяковым противились такому прощанию, считая, что это отпевание – светский акт, а не молитва. А народ шел и шел: мещане, актеры, нищие, купцы, чиновники... Жандармы предполагали, что хоронят какого-то знатного князя, не представляя себе, что прощаются с писателем. Один извозчик уверял, что это умер главный писарь при университете...

Из церкви Гоголя понесли на руках в отдаленный Свято-Данилов монастырь, где он желал быть похороненным возле своего друга поэта Языкова. Вся Москва была на этом печальном торжестве... «Кого это хоронят? – спросил случайный прохожий, встретивший погребальное шествие, – неужели это все родные покойника?» – «Хоронят Гоголя, – отвечал один из студентов, шедших за гробом, – и все мы его кровные родные, да еще с нами вся Россия».

Так описывала день 25 февраля 1852 года «Русская Старина».

А на гробовом камне-валуне гоголевской могилы начертаны слова пророка Иеремии: «Горьким словом моим посмеются».

* * *

Прошло 80 лет, и уже в Советской России решено было перенести прах Гоголя с Данилова кладбища на Новодевичье – произошло это событие 31 мая 1931 года. А в Даниловом монастыре НКВД устроил тюрьму для несовершеннолетних преступников, которая просуществовала вплоть до начала 1990-х годов. Ныне там патриаршее подворье.

В 1952 году в СССР всенародно и празднично отмечали 100-летие... смерти Гоголя – такая традиция повелась с 1937 года, когда вождем приказано было народу ликовать по поводу вековой кончины Пушкина...

Сталинская газета «Правда» писала в те дни: «Творческий путь Гоголя был сложен и противоречив. В последние годы жизни писатель, как известно, испытывал влияние идей, чуждых народу. Эти его заблуждения тогда же были осуждены в знаменитом письме Белинского к Гоголю...»

Вот и «неистовый Виссарион» пригодился, поучавший Гоголя перестать быть Гоголем, а «быть просто, без фантастических затей, на почве ежедневной действительности».

Советская же действительность была такова: в Москве Пречистенский бульвар переименовали в Гоголевский, памятник Гоголю работы скульптора Н. Андреева, установленный в 1909 году на народные пожертвования, перенесли во двор толстовской усадьбы, где жил и умер Гоголь. А на бульваре, на месте андреевского монумента, встал памятник Гоголю-оптимисту работы Н.Томского.

На Новодевичьем кладбище, на могиле Гоголя установили новое казенное надгробие с официальной надписью: «От советского правительства...» Былой камень с библейскими словами еще до войны был заброшен в сарай, откуда со временем фантазмагорическим образом попал на могилу писателя Михаила Булгакова, как раз напротив могилы Гоголя: лукавый вновь посмеялся над классиком. Горько все это...

* * *

Пушкин, Гоголь, Гаршин, Лев Толстой, Клюев, Есенин – это люди НЛО, внезапно появившиеся на нашей земле и столь же стремительно-загадочно исчезнувшие с нее. У каждого был свой уход, но общим было их стремление преодолеть творчески свое время-бытие. До поры

им удавалось зашифровать свой код личности, но по прошествии десятилетий и веков тайна кода приоткрывалась...

Такова была и творческая судьба Гоголя, в которой личность героя и биография автора сплелись воедино. Именно его персонажи волею авторского пера превращают Время в Вечность, прорываясь из своего XIX века в наше столетие. Пусть это будут «Записки сумасшедшего», но мечтательный Поприщин мыслил «годом 2000-м», освобождаясь от постылой обыденности службы в департаменте и прочей «мелочности жизни». Мертвящее, временное сменяется вздохом облегчения: «Хорошо, что еще не догадался никто посадить меня тогда в сумасшедший дом. Теперь передо мною все открыто. Теперь я вижу все как на ладони».

Сдвиг во времени, в исторических временах – характерная, отличительная черта поэтики Гоголя, уходом своим обманувшим злую «ведьму-старость». Свободно переходя от праистории России к реальной действительности, виртуозно преодолевая «темпоральные барьеры» (определение М.Вайскопфа), Гоголь выращивал фантазийно свой райский сад, в котором весной «выросла репа», а также «попевают вишни и сливы». Но беда в том, что, будучи молодым по возрасту, писатель чувствовал себя довольно часто дряхлым дедом, на пример того, как молодой казак в «Страшной мести» оборачивался стариком, а уж кем обернулась юная панночка в «Вие», и вспоминать-то к ночи не хочется...

Вот и покойные крестьяне в «ревизской сказке» как живые. Да и сам автор «Мертвых душ» приуговатывал себя к «вечной весне», желая «один бы день только провести не в обычаях девятнадцатого века, но в обычаях века вечного». Не отсюда ли гоголевское стремление укрепиться на таинственных ступенях духовной лестницы, воспетой в молитве Иоанна Лествичника?..

Стремление, согретое романтической верой в «восторженно-чудное завтра»: «Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и все летит...»

В известной статье 1832 года «Несколько слов о Пушкине», Николай Гоголь объявил Пушкина, своего современника, «русским национальным поэтом», добавив: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет».

Прошло двести лет. Русский дух являл себя за это время в разных ипостасях, народ России развивался, но Пушкин, как и Гоголь, остались и поныне недосыгаемым художественным образцом.

Всемирная сеть Интернета, изощренные технологии многочисленных коммуникаций, продвигаясь и развиваясь как данность, одновременно неуклонно разрушали саму природу человеческой души, омертвляя ее романтическую изначальность, извечную субстанцию добра и милосердия, что еще более обозначило смысл гоголевского пророчества-надежды касательно Пушкина как символа отечественной духовности.

* * *

... Мне часто приходилось бывать в доме Гоголя в Москве на Никитском (ныне Суворовском) бульваре, 7а, во дворе которого приютился знаменитый памятник писателю работы скульптора Н. Андреева.

Входишь в каменные ворота высокой ограды, идешь направо к балконной галерее дома Талызина и попадаешь в переднюю нижнего этажа. Налево библиотека имени Гоголя, а направо – угловая комната, два окна которой выходят во двор и два на бульвар. Это и есть рабочий кабинет писателя. Здесь он вдохновенно работал, здесь же им были преданы сожжению бесценные страницы второго тома «Мертвых душ»...

При жизни писателя старик слуга графа А.П.Толстого приветливо указывал гостям Гоголя дверь его кабинета, добавляя: «Пожалуйста, ждуть-с!» Гость-земляк стучал в затворенную

дверь, спрашивая по-малоросски: «Чи дома, брате Миколо?» – «А дома ж, дома!» – негромким певучим голосом отзывался хозяин. Тем голосом, который, по отзывам современника, «заставлял слушателя усваивать самые мелочные оттенки мысли» (Д.А.Оболенский).

Именно этот заветный голос изрек в своем XIX веке: «Будьте не мертвые, а живые души». Быть может, в этой последней главной заповеди классика и слышна вера в наше общее спасение, спасение России, отринувшей мертвое во имя живого?..

**Полтава – Великие Сорочинцы –
Миргород – хутор Диканька –
Санкт-Петербург – Москва – Челябинск**

Алексей Леонидович КАЗАКОВ

родился в 1949 году в Челябинске.

Литературовед, критик, издатель.

Окончил Литературный институт им. А. М. Горького

и аспирантуру Института мировой литературы

им. А. М. Горького Академии наук СССР.

Член Союза журналистов РСФСР и член Союза писателей России.

Выпустил ряд книг, в частности – о творчестве С. Есенина.

Опубликовал десятки статей и очерков в «Литературной России»,

«Комсомольской правде», «Литературном обозрении»,

«В мире книг» и других изданиях.

Живет в Челябинске.

